

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2011 г. О.А. РАДЧЕНКО, Л.С. АЛИКАЕВА

Й.Г. ГАМАН В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

В статье рассматриваются лингвистические взгляды Й.Г. Гамана, выдающегося теоретика языка и философа, оказавшего существенное влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности – на творчество И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, И.В. фон Гёте, видных представителей немецкого Просвещения. Взгляды Гамана на сущность и происхождение языка, его воздействие на картину мира его носителей, взаимосвязи языка и религии анализируются на широком фоне лингвистических и философских дискуссий в европейском и германском языкознании второй половины XVIII столетия.

В современной истории языкознания все более важную роль играет нарративная историография – сравнительно новое направление, развивающее принципы нового объективизма в описании лингвистических концепций прошлого [Радченко 2000]. Следуя этим принципам, исследователь изучает исторический, научный, личностный контексты того или иного события в истории лингвистики, проводит метакритический анализ существующей традиции в оценке данной концепции, верифицирует результаты исследования с опорой на хронологический анализ всех работ, значимых для данного направления в теории языка.

В этой связи исследователем-нарративистом воссоздается тезогенез, процесс складывания уникальной системы авторских концептов. Однако, что еще более важно, исследователь воссоздает в мельчайших деталях личностный портрет лингвиста, рисуя его на широком фоне эпохи, общественно-политических событий, помещая его в центр портретной галереи выдающихся личностей его времени, освещая многообразие отношений между ними (прекрасным примером такого подхода являются работы В.М. Алпатова, посвященные марризму [Алпатов 2004]). Не суд над мыслителем, а рассказ о нем, возможно более полный и отвлеченный от страстей его времени и особенно от предвзятости последующих интерпретаторов, становится основной задачей нарративиста.

Все это позволяет в результате воссоздать то, что в современной философии науки получило название «интеллектуального дискурса» (см., например [Соломеин 2003]) как пересечения социальных, культурных и гносеологических процессов. Интеллектуальный дискурс возникает в результате повышенного внимания общества к каким-либо значимым, определяющим его интеллектуальное бытие проблемам и характеризуется высокой «плотностью» ярких личностей, вступающих друг с другом в научную, насыщенную образностью, глубокой аргументацией, пронизанную присущим им интеллектом полемику.

Проводя параллели с французским интеллектуальным дискурсом, формирование которого относят к рубежу XVII–XVIII вв., следует считать это время чрезвычайно

плодотворным и для немецкой общественной жизни. Существенные импульсы – возникновение рациональной картины мира, влияние «просвещенного» абсолютизма, распространение моды на французский стиль жизни и рассуждения, влияние эссеистики М.Э. де Монтеня (1533–1592), возникновение интеллектуальных салонов и расцвет светской интеллектуальности вообще, превалирование ratio над верой – повлияли на образ жизни и мысли молодежи в Германии, ее привычки и мечты, обратили ее внимание на художественную литературу и публицистику, привили ей любовь к пиитству и журналистской деятельности. В этой связи можно говорить о формировании немецкого интеллектуального дискурса, имевшего свои отличительные черты, по сравнению с французским «оригиналом», прежде всего связанные с влиянием протестантизма и особенно пиетизма.

В этой атмосфере происходило формирование личности кёнигсбергского лингвиста и философа Иоганна Георга Гамана (1730–1788) как совершенно особенного типажа интеллектуала-аутсайдера, который выступал как остроумный противник духовных течений эпохи и, не занимая никаких должностей в университетской среде, выделялся среди своих современников особым литературным стилем, своими критическими статьями и небольшими памфлетами. Й. Гаман оказал серьезное влияние на интеллектуальную атмосферу не только Восточной Пруссии, но и всей Германии того времени.

Никто из авторов, серьезно изучавших его деятельность и работы, не ставит под сомнение то огромное влияние, которое Гаман оказал не только на духовную атмосферу своего времени, но и на таких видных мыслителей в философии и языкознании, как И. Кант (1724–1804), И.Г. фон Гердер (1744–1803), С. Кьеркегор (1813–1855), В. Дильтей (1833–1911), М. Бубер (1878–1965), К. Ясперс (1883–1969) и др. Классическим стало в современных публикациях цитирование слов И.В. фон Гёте, считавшего Гамана «самой светлой головой нашего времени» и писавшего о нем в своей автобиографической книге «Поэзия и жизнь». Гёте указывал, что после выхода в печати первой же работы Гамана «чувствовалось, что это глубоко мыслящий, основательный человек, который, точно зная со всей очевидностью мир и литературу, все же оставлял место чему-то тайному, неисследованному и высказывался об этом своим собственным способом» [Goethe 1948: 512].

О Гамане с большим уважением писал К.В.Ф. Шлегель (1772–1829), сожалевавший в 1813 г. о том, что до сих пор не издано собрание его сочинений. Для Шлегеля Гаман – «пожалуй, самый оригинальный, однако, без сомнения, один из наиболее глубоко мыслящих и ученейших писателей, которых подарил Германии восемнадцатый век» [Schlegel 1813: 37]. Однако Гаман, с точки зрения Шлегеля, остался недооцененным современниками: «Ведь известно же, что представляет собой поток немецкой литературы и его причуды; как там все легковесное плавает на поверхности, а лучшее и наиболее благороднейшее легко забывается и затягивается в пучину общего бездумья» [Schlegel 1813: 37].

Особым вопросом можно считать отношения между Кантом и Гаманом. Столь же отдельной проблемой является степень непосредственного влияния Гамана на В. фон Гумбольдта (1767–1835). К моменту смерти Гамана Гумбольдту исполнился всего 21 год, лично он не был знаком с Гаманом, а с его взглядами познакомился, благодаря трудам Гердера, прежде всего, – в его работе о происхождении языка, которую знал и использовал для своих уроков его домашний учитель Энгельс. Личное знакомство Гумбольдта с Гердером состоялось, очевидно, при посещении им Веймера в 1789 г., на следующий год после кончины Гамана. Впрочем, имена Гамана и Гердера встречаются уже в ранних трудах Гумбольдта, что свидетельствует о явной самостоятельности Гумбольдта в его «метакритике».

Усилия по изданию работ Гамана предпринимались еще при его жизни, а увенчались впервые успехом в 1821 г., когда по инициативе его друга Ф.Г. Якоби (1743–1819) в Мюнхене началась публикация трудов Гамана под редакцией Рота, завершившаяся изданием восьми томов [Roth 1821–1843]. Это собрание побудило Гегеля написать довольно подробную, но не во всем выдержанную характеристику Гамана в 1828 г., вы-

зававшую протесты даже в рядах учеников самого Гегеля. Но и после этой полемики продолжали публиковаться весьма разные мнения о деятельности и личности Гамана, в частности, показательны уничижительная характеристика Гамана в четвертой части «Истории немецкой поэтической национальной литературы» Г.Г. Гервинуса [Gervinus 1840] и очень обширная биография (а по тону – апология) Гамана в шести томах К.Г. Гильдемайстера [Gildemeister 1857–1873] с приведением множества цитат из его трудов и переписки. В 1887 г. в Берлине были опубликованы письма Гердера к Гаману; это положило начало изучению обширной переписки Гамана с современниками.

С конца XIX в. по 1930-е гг. довольно часто выходили небольшие сборники работ Гамана. В 1936 г. было начато издание избранных трудов Гамана с предисловием к одному из томов самого В. Дильтея [Dilthey 1936]. Й. Надлер издает в 1949–1957 гг. шеститомник избранных трудов Гамана [Nadler 1949–1957]. В 1956–1963 гг. увидел свет семитомник основных работ Гамана с комментариями известных исследователей его творчества Ф. Бланке и Л. Шрайнера [Blanke, Schreiner 1956–1963]. Издавались и отдельные работы Гамана с комментариями.

Издательской деятельности не уступает по уровню и объему традиция исследований творчества Гамана, сложившаяся поначалу в Германии и охватывающая в настоящее время не только европейские страны, но и США и Японию [Аликаева 2009].

В отечественной науке первым автором, посвятившим свои размышления религиозной философии Гамана, был В.А. Кожевников [Кожевников 1897; см. также Michailov 1992]. В современной науке о языке к Гаману в контексте европейской лингвофилософской парадигмы XVIII века обращались В.Н. Брюшинкин [Bryuschinkin 1992] и О.А. Радченко [Радченко 1997]. Впоследствии большой вклад в изучение творчества Гамана внес В.Х. Гильманов, посвятивший свою диссертацию герменевтике как основному принципу научного творчества Гамана (см., например [Гильманов 1996]), издавший, в том числе, переводы некоторых работ Гамана на русский язык. Проблема отношения Гамана к чувственности его эпохи отражена в работах А.Н. Макарова [Макаров 2004].

С начала двадцатого столетия, как отмечает Й. Каванаго, известный японский исследователь творчества Гамана, «прежде всего бросается в глаза то, что Гаману длительное время приписывали предикаты “вдохновитель”, “пророк” или “проложивший дорогу”» [Kawanago 1993/1994: 46]. Многочисленные монографии нового столетия, статьи, в том числе – на японском, итальянском, русском, испанском и других языках – и рецензии, переиздания его трудов, проходящие с 1976 г. международные colloquia в его честь (десятый состоится в сентябре 2010 г. в Галле, ФРГ) свидетельствуют о том, что последнее слово в метакритическом осмыслении духовного наследия Гамана еще далеко не сказано. Тем не менее, и персоналия Й.Г. Гамана, и сложность и неоднозначность интерпретации его идей, и обширная палитра взглядов на самые разные обстоятельства жизни человека и влияния языка на все сферы человеческой духовности обуславливают непрекращающийся интерес к нему в философии языка нового тысячелетия и требуют продолжения научного поиска в этой весьма непростой области, чрезвычайно существенной для лингвоисториографии, философии языка, всего теоретического языкознания.

Основными областями интересов Гамана были язык, познание и самопознание, природа человеческой личности, отношение человечества к Богу. Поводом для размышлений на ту или иную тему для Гамана часто становились публикации современников, на которые он давал едкие, иной раз пародийные рецензии. В них он обыгрывал терминологию и сам стиль изложения рецензируемого автора и насыщал их тонкими аллюзиями, намеками, риторическими фигурами. Свои работы Гаман нередко подписывал разнообразными, весьма вычурными псевдонимами: Сократ, Аристокл, Провинциал, Швабский священник, Абельяр Вирбиус, Рыцарь Розенкрейцер, Адельгунда, Сивилла, Северный Волхв, Экс-Мандарин Мьен-Ма-Гоам и др. Эти псевдонимы позволяли ему, очевидно, еще более успешно пародировать аргументы своих оппонентов и доводить их до нужного Гаману абсурда. Возможно, тем самым Гаман пытался также

соответствовать вкусам и моде той эпохи, в которой тайны, секретные ордена, опыты Калиостро, загадки месмеризма были объектом крайнего общественного интереса. В заголовках трудов Гамана неслучайно мелькают самые разные сюжетные параллели, взятые им из античной классики, иудаистской литературы, сказаний, либо придуманные им.

В научной литературе можно встретить суждение, что для Гамана каждая публикация представляла собой ристалище, на котором он состязался с читателем, испытывая глубину его интуиции. Такая позиция была избрана Гаманом заведомо и осознанно, поскольку, как он полагал, «писатель, который спешит быть понятым ныне или завтра, рискует быть неверно понятым послезавтра». Именно Гамана можно считать создателем термина «метакритика», который отражает весь стиль его размышлений с опорой на мнение оппонента (во всяком случае, Гердер, которому иногда приписывают авторство этого термина, использовал его впервые в 1799 г., между тем как в манускриптах Гамана он фигурирует как минимум на двадцать лет раньше). Метакритика Гамана сочетала основательную герменевтическую критику (в частности, рационалистических позиций Просвещения) с самокритикой. Отталкиваясь от характерного для XVIII в. противопоставления чувства и разума, Гаман сравнивает первый – с желудком, а второй – с кровяными сосудами, настаивая на их взаимозависимости. Это определяет особое место, которое пристало Гаману в истории философии языка и лингвистики XVIII в.: не быть ни материалистом, ни позитивистом, ни эмпириком, ни идеалистом, ни рационалистом. Единство разума и чувств выступает у Гамана как *communicatio idiomatum*. Этот термин, который в христианской теологии означал способ соединения божественного и человеческого в Христе, Гаман сопоставляет с «обыденным языком».

Важное качество, отличающее стиль мышления и научного творчества Гамана, – это стремление объединить рассуждения о совершенно разных предметах в единый контекст, который, правда, трудно назвать системой взглядов. Гаман неоднократно подчеркивает калейдоскопичность человеческого мышления и знания, он настаивает на существовании массы противоположностей, противоречий в них, анализирует персонификацию («просопопею»), чтобы разобраться в них. Немаловажную очищающую роль должен играть в этом процессе язык, поскольку именно на нем основаны разум и философия, он способен примирить эстетическое и логическое начала человека. Язык выступает как посредник между Богом и человеком, он обладает «генеалогическим приоритетом» перед разумом и мышлением.

Что же касается ставшей уже общим местом «сложности интерпретации» Гамана, то наиболее точно объяснил ее И.В. фон Гёте (1749–1832): «Если невозможно присоединиться к его глубине, бродить с ним на его высоте, охватить те образы, которые витали у него перед глазами, извлечь смысл даже одной смутной цитаты из бесконечно обширной литературы, то вокруг нас становится еще более мрачно и темно, чем более мы его изучаем, и эта тьма с годами будет все более сгущаться, поскольку его намеки были преимущественно направлены на конкретные господствовавшие в тот момент в жизни и литературе особенности» [Goethe 1948: 515]. Даже то обстоятельство, что Гёте располагал рукописями с собственноручными глоссами Гамана с указанием на источники его цитат, никак не помогало понять до конца смысл его работ. И поэтому каждый раз, открывая «сивиллины листки» Гамана, Гёте полагал, что находит нечто новое, поскольку «присущий каждой цитате смысл многообразно трогает нас и волнует» [Goethe 1948: 515].

Об этом же писал Г.В.Ф. Гегель (1770–1831), который полагал, что труды Гамана не написаны в каком-то своеобразном стиле, а они и есть этот стиль [Hegel 1956: 221]. Более того, «во всем, что вышло из-под пера Гамана, эта личность столь пронзительна и столь превалирует, что читатель практически повсеместно обращает свой взор более на нее, чем на то, что следовало бы считать содержанием» [Hegel 1956: 221].

Однако не менее притягательной для исследователя представляется и сама личность Гамана как выдающегося немецкого философа языка, и это остается заметной темой в европейской лингвоисториографии на протяжении почти двухсот лет. Можно

вполне полагать, что интерес к этому ученому среди философов, лингвистов, теологов, литературоведов Германии практически не прерывался в течение всего периода после его кончины. Гамана причисляют к видным деятелям Контр-Просвещения, считают главным вдохновителем движения Бури и Натиска, лютеранином-пиетистом, другом и одновременно едким критиком Канта, автором зачастую провокационных памфлетов, изобиловавших остроумными замечаниями. Исследователи Гамана считают его жизнь одним из проявлений той таинственности, с которой всегда связывают его имя и творчество. Несмотря на то, что существует несколько довольно подробных жизнеописаний Гамана, а также на то, что сам он оставил автобиографические заметки об одном из периодов своей жизни, многие обстоятельства ее до сих пор неясны и продолжают волновать исследователей. Учитывая это обстоятельство, приходится ограничиться в нашем случае весьма кратким биографическим экскурсом.

Иоганн Георг Гаман родился 27 августа 1730 г. в Кёнигсберге. Он был первенцем в семье цирюльника и лекаря Иоганна Кристофа Гамана (1697–1766) и акушерки Марии (?) Магдалены Элизабет (урожденной Нуппенау, родом из Любека). Его дед по отцовской линии – Иоганн Кристоф Гаман (1638–1699), был священником в Лужице. У него, кроме отца Гамана, был еще старший сын – полный тезка Гамана – Иоганн Георг Гаман (1697–1733) – гамбургский юрист, учитель, литератор, автор духовных песнопений, поэтического лексикона и продолжатель «Азиатской ванизы» Циглера. Родители переехали в Кёнигсберг, практически не имея никаких средств, и приложили немало усилий, чтобы купить домик с небольшим садом между ручьем Катцбах и рекой Преголей.

Отец постепенно приобрел репутацию искусного хирурга, хворавшая мать посвятила себя воспитанию сыновей, которое было довольно строгим. На обучение детей супруги тратили достаточно средств, однако в результате Гамана довольно бессистемно обучали греческому, латыни, французскому, итальянскому, музыке и рисованию. Эту бессистемность Гаман впоследствии считал причиной того, что он находится «в большом затруднении», когда пытается «упорядочить свои мысли устно и письменно и выразить их с легкостью» [Nadler 1949–1957, II: 14].

В конце концов, отец перевел Гамана в публичную гимназию, по окончании которой в 1746 г. Гаман записывается в Кёнигсбергский университет имени Альберта для изучения теологии, математики и философии (которой он учился у известного философа М. Кнутцена (1713–1751)). Этот период совпал с первыми годами распространения Просвещения, ростом интереса к французской литературе в германских государствах. Исключением была лишь Пруссия, которая, «кажется, пребывала в глубоком забвении» (Гаман). Из этого состояния Гаман и его друзья попытались пробудить Кёнигсберг. Друзьями его в университете становятся Иоганн Кристоф Беренс (1729–1792) и Иоганн Готтхельф Линднер (1729–1776), с ними он с 1750 г. начинает издавать еженедельник «Дафна». Примерно в то же время он пишет первые подражательные стихи, которые позднее опубликует в «Крестовых походах одного филолога» [Roth 1821–1843, II: 319–328].

Гаман проявляет склонность к критическому анализу научных работ, определившему впоследствии все его творчество, и пишет на латыни краткую рецензию магистерской диссертации одного из своих друзей. Как отмечает Гаман, именно эта склонность к критике, наряду с интересом к древностям, «отвратили меня от всех серьезных наук: с тех пор меня влекло к так называемым прекрасным и изящным наукам, поэзии, романам, филологии, французским писателям и их дару сочинять, рисовать, изображать и привлекать силу своего воображения» [Nadler 1949–1957, II: 21]. Это объясняет, почему Гаман, бросив изучение теологии и перейдя на юридический факультет, в гораздо большей степени интересуется филологией, языками, математикой и естественными науками.

Не окончив университет, Гаман некоторое время живет в достаточно стесненных условиях в доме отца, что только усиливает его желание путешествовать – желание, которое можно считать визитной карточкой XVIII в. Стремление путешествовать и обо-

гащать свои знания, ощущения, знакомиться с известными мыслителями, интересными и выдающимися персонами определяли образ жизни весьма многих молодых людей в Германии того времени и первой половины XIX столетия. Вторым важным мотивом дальнейшей судьбы Гамана можно, вслед за Дильтеем, считать «сильнейший педагогический порыв», не оставлявший Гамана всю его жизнь. А третьим – желание свободы и возможность «быть хозяином своих денег» [Nadler 1949–1957, II: 21].

С 1752 по 1756 гг. он трудится в качестве домашнего воспитателя в двух богатых семействах, используя это время для чтения трудов по философии и экономике, английской и французской литературы, трудов Б. Спинозы (1632–1677) и Д. Локка (1632–1704). Именно в этот период он приобретает свои поистине энциклопедические познания, выписывает всевозможные библиографические справочники, научные энциклопедии, периодические издания с разнообразными рецензиями. По заказу Беренса он переводит с французского языка нашумевший трактат Дангеля по торговой политике, снабжая перевод собственными комментариями, касавшимися и взаимосвязи моральных предпосылок и этнического духа.

Этот перевод побуждает Беренса настойчиво предлагать Гаману место в его торговой фирме. В качестве первого поручения ему вверяется важная коммерческая миссия в Лондоне, куда он отправляется 1 октября 1756 г. По пути в Лондон Гаман делает множество остановок и приобретает весьма важных знакомых, в их числе – известного философа Моисея Мендельсона (1729–1786) и швейцарского математика, физика и философа Иоганна Георга Зульцера (1720–1779). Наконец, в апреле 1757 г. Гаман прибывает в Англию. Из автобиографии Гамана совершенно неясно, в чем заключалась его миссия, однако она окончилась полным провалом. Тем не менее, Гаман остается в Лондоне и, ведя довольно беззаботную жизнь, тратит все порученные ему средства. Единственное занятие, доступное ему в этот момент, – чтение, и именно в лондонский период Гаман заинтересовался философией Д. Юма, английской физикотеологией, учением о деизме и его критикой, с восторгом читал теологические работы Р. Бойля. Гаман ищет в его мыслях доказательство того, что между Библией и природой существует лишь различие в степени истинности, но в целом Библия воспринимается им не как сборник преданий, а как подлинная история создания мира.

Он перечитывает несколько раз Библию, анализирует и пропускает через себя, свой жизненный опыт, содержание ее как «божественную риторику» (*rhethorica sacra*), а самого Господа он называет в этой связи писателем. Это производит решительный поворот в жизни Гамана в сторону христианства, который в значительной степени отражен в его манускриптах того периода: «Библейских наблюдениях одного христианина», начатых 19 марта 1758 г., «Мыслях о моей биографии» (начаты 21 апреля 1758 г.) и «Крохах» (начаты 16 мая 1758 г.).

Он возвращается в своих библейских рассуждениях к пиетистским традициям своей семьи, глубоко переживает описанные в Библии события и ситуации. Одним из важных понятий в его размышлениях становится «нисхождение» Господа (*Herunterlassung*): каждое явление действительности Гаман воспринимает как акт низведения Господом себя до уровня человека (на примере событий, связанных с жизнью Христа).

Получив от отца средства для возвращения домой, в июне 1758 г. Гаман не без приключений покидает Лондон, приезжает в Ригу, а затем возвращается в Кёнигсберг. В доме отца Гаман продолжает изучение Библии, трудов Мартина Лютера, мировой литературы, занимается писательским трудом. Однако с этого момента наступает период разобщения с друзьями. Летом 1759 г. Беренс приезжает в Кёнигсберг, стремясь вернуть Гамана в лагерь сторонников Просвещения. В союзники для этого он привлекает самого И. Канта, и вдвоем они посещают Гамана, вызывая у него в ответ только возмущение тем, насколько его друзья не понимают его состояния и образа мыслей. В качестве ответа на эти попытки Гаман публикует свою первую серьезную работу – «Сократические достопримечательности» (1759 г.), по форме – письмо-посвящение Канту и Беренсу с апологией собственного созерцательного бытия.

Фигура Сократа избирается Гаманом не случайно – именно Сократ как символ рационального скептицизма был в то время героем просветительской интеллигенции. Для Гамана же Сократ – фигура пророка, предшественника Христа, жизнь и идеи Сократа он соединяет в этой связи с христианством. Он проводит аналогию между Сократом и Иисусом, Св. Павлом и самим собой.

С этого момента и до 1762 г. он издает целый ряд небольших по объему, но чрезвычайно важных работ, в том числе – «Краткий очерк эстетики». В 1762 г. некоторые из этих работ публикуются в сборнике «Крестовые походы одного филолога», а затем в свет выходят «Писатель и художественный критик» и «Читатель и художественный критик», в которых Гаман производит метакритический анализ работ, вышедших в Германии на волне критики «Новой Элоизы» Ж.Ж. Руссо (1712–1778). Он исследует и лингвистические проблемы (в частности, происхождение языка) в «Опыте об академическом вопросе» и «Смешанных замечаниях о соединении слов во французском языке».

Гаман сотрудничает с кёнигсбергскими газетами, публикует критические заметки, которые начиная с 1758 г. принесли ему славу и имя и обратили на него внимание философов и интеллектуалов в Берлине, Веймере, в Швейцарии, создали основу для его связи с Г.Э. Лессингом (1729–1781) и Ф.Г. Клопштоком (1724–1803). Он изучает древнегреческий, древнееврейский и арабский, труды Мартина Лютера (1483–1546) и Иоганна Альбрехта Бенгеля (1687–1752), известного протестантского философа-пиетиста. Одновременно он активно вовлекается в современные ему литературные и философские дискуссии, публикуя полемические работы, в частности, рецензию на труд М. Мендельсона, метакритику крайне критично настроенных рецензентов своих работ («Облака»). В 1761 г. он вступает в полемику между представителями различных партий в Просвещении, обрушиваясь (особенно в «Моисеевых эссе», написанных по-французски) на короля Фридриха Второго, Вольтера и сторонников французских энциклопедистов в Германии за подражание чужим философским и политическим образцам. Гаман редактирует первые тридцать выпусков «Кёнигсбергской ученой и политической газеты» (1764–1767), затем вплоть до 1780 г. пишет отдельные рецензии и статьи для нее [Roth 1821–1843, VII: 92].

В тот же период завязывается и его дружба с И.Г. Гердером, которому Гаман дает частные уроки английского языка и литературы. Однако отношения между ними складывались довольно неровно.

Нуждаясь в каком-либо источнике для существования, в 1767 г. благодаря ходатайствам Канта Гаман получает должность переводчика в прусском таможенном управлении. Он становится, таким образом, государственным служащим Фридриха Великого, к личности которого он не испытывает никаких симпатий. Однако финансовое положение Гамана было практически постоянно крайне отчаянным.

Расстроившиеся было в результате философских и литературных расхождений отношения с Гердером налаживаются в 1772 г. В этот период он вообще наиболее активно отвечает на публикации Гердера: в ответ на конкурсное сочинение Гердера «Об истоках языка» Гаман публикует «Последнее волсизъявление Рыцаря Розенкрейцера по поводу божественного и человеческого происхождения языка» с дополнением «Прусскому Соломону» (это привлекло ко всей работе внимание цензуры в связи с намеками на Фридриха Второго), а после выхода гердерова «Древнейшего свидетельства рода человеческого» он пишет рецензию на нее. Рассуждения Гердера в его сочинении о происхождении языка Гаман рассматривает как инсценировку, как «действие в театральном разуме». Этому действию Гаман противопоставляет свое видение процесса создания языка как проявления аналогии между божественным и человеческим началом.

В 1777 г. Гаман получает повышение – должность заведующего городским пакгаузом. Эта должность была ему весьма по сердцу, так как он мог сидеть в своей «ложе» или своем «телонии», как он именовал свою контору, и предаваться чтению. В этот момент близки к нему поэт и журналист Матиас Клаудиус (1740–1815) и швейцарский поэт Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801). Однако в целом влияние Гамана на духов-

ную ситуацию в Германии сходит на нет в течение 1770-х гг. Тем не менее, именно в это время Гаман пишет ряд важных трудов по философии языка, в частности, «Апологию буквы Н» (особенно ценимую Кантом).

В 1782 г. он получает письмо от Фридриха Генриха Якоби (1743–1819), что стало началом весьма оживленной шестилетней переписки, в которой Гаман высказал весьма важные философские и теологические идеи. Практически одновременно Гаману пишет молодой почитатель его работ Франц Каспар Бухгольц из Вестфалии, пригласивший его погостить в Мюнстер. Гаман устанавливает контакты с мюнстерским католическим кружком Франца фон Фюрстенберга (1729–1810) и княгини Амалии Голицыной (1748–1806). Он публикует «Обнажение и преображение. Открытое письмо известному Никому», тесно связанное по содержанию с «Голгофой». Считая себя своего рода целителем философии, в конце жизни Гаман собирался опубликовать собрание своих сочинений под названием «Целебные водные процедуры», одновременно намекая на профессию своего отца, а каждый том должен был носить название «Лохань». Но этот проект так и не был реализован.

Как только Гаман завершает «Открытое письмо», по настоянию своих новых друзей, приглашавших его приехать в Мюнстер, он выходит на пенсию и в июне 1787 г. отправляется со своим сыном Михаэлем и другом, и лечащим врачом Линднером в давно запланированное путешествие в Вестфалию. Однако пребывание в Вестфалии оказалось губительным для его здоровья, и Гаман, невзирая на уговоры врачей, решает вернуться в Кёнигсберг. 21 июня 1788 г. в намеченный день отъезда он умирает.

Удивительная и полная событий биография «Северного мага» Й.Г. Гамана – чрезвычайно оригинального и парадоксального мыслителя – позволяет представить себе масштаб этой удивительной личности, которая притягивала к себе множество ярких и талантливых современников. Знание деталей жизни, восстановление как можно более точного портрета И.Г. Гамана должны стать первым шагом к постижению особенностей лингвофилософской концепции этого замечательного ученого.

Для понимания полемики Гамана со сторонниками Просвещения крайне важна дихотомия «человека во Христе» и «естественного человека» (просвещенца), поскольку только религия способна, по мысли Гамана, раскрыть человеку ценность его души, причину и бесконечность того счастья, которое ожидает его по ту сторону бытия. Христианство является собственно предметом большинства работ Гамана и составляет основу подтекста остальных. Можно считать эту особенность генеральной чертой всего научного наследия Гамана. Понимание языка как таинственного моста между божественным и бесконечно далеким от него человеческим можно считать лейтмотивом рассуждений Гамана. Господь общается с человеком великими символами природы, истории, человек же выражает свою чувственную жизнь символами языка. Язык представляется Гаману как *communicatio idiomatum* духовного и материального, как посредник между созерцанием и понятием, звуком и мыслью, субъектом и внешним миром, между индивидуальным и совокупным духом.

Проблема взаимовлияния языка и разума является для Гамана отражением фундаментальной особенности человеческого познания: связи и отношения между способностью нашей души к познанию (*Erkenntnisvermögen*) и способности тела к выражению (*Bezeichnungsvermögen*). Проблема влияния языка на мышление подробно освещена Гаманом в его «Опыте Аристобула об академическом вопросе» (1760), а также – в «Химерных идеях Абеяра Вирбия о десятой части писем касательно новейшей литературы» (1761).

Эти работы навеяны конкурсным сочинением гёттингенского ориенталиста и теолога Иоганна Давида Михаэлиса (1717–1791) на тему, заданную Прусской королевской академией наук и литературы в 1759 году: «Каково взаимное влияние языка на мнения и мнений на язык?» Результат этого конкурса (шесть лучших сочинений) был опубликован и вызвал критическую отповедь Гамана, прежде всего, считавшего главным недостатком конкурса неясность в трактовке термина «влияние» (*Einfluss*). Столь же неоднозначными он считает и термин «*Meinung*» (*opinion*), который «то отожде-

ствляется с истиной, то противопоставляется ей», и термин «Sprache», который вообще «имеет весьма много смыслов» [Simon 1967: 89]. Тем самым Гаман фиксирует основной недостаток задания: его можно понять совершенно по-разному, интерпретировать множеством способов. Однако эта проблема для него есть лишь отражение фундаментальной особенности (читай: ограниченности) человеческого познания: «Связь и отношение между способностью нашей души к познанию и способностью тела к выражению – это достаточно распространенное наблюдение, о характере и границах которого, однако, написано еще мало. Поэтому между всеми языками человеческими обязательно существуют сходства, основанные на гомоморфности нашей натуры, и сходства, необходимые в малых сферах общества» [Simon 1967: 89–90]. Здесь Гаман вводит важную терминологическую пару и образ языка как тела души, которые будут определять его рассуждения вплоть до «Метакритики». Кроме того, в данном различии Гаман впервые акцентирует внимание философии языка на том факте, что «сходства» между языками затмевают различия между ними; более того, «сходства, необходимые в малых сферах общества», на самом деле фиксируют границы внутри одного языка, существующие между различными группами («сектами», как говорит Гаман) и определяющиеся их жаргонами и другими субъязыками. Он ставит в этой связи задачу изучать не только язык «народа» или его «общества, секты», но и язык конкретного человека, сравнивать «несколько языков и один единственный в различном сочетании времени, места и предмета» [Simon 1967: 90]. Это изучение поставляет исследователю «океан наблюдений».

Гаман подробно анализирует термин «влияние», который воспринимался бы последователями Лейбница как «гармония», а «академистами» вообще не воспринимался бы как научный термин, ибо они не торопились бы извлекать вывод о взаимовлиянии вещей из их простой связи друг с другом. Гаману же термин этот нравился в прямом его смысле, даже, несмотря на то, что «единый язык более чем часто имеет место при противоположных мнениях и наоборот». Ему импонирует именно семантика воздействия, которая иллюстрируется им на примере автора, способного по воле «счастливого случая» своим «негласным влиянием» изменить мнения и язык сначала «ученого цеха», а затем – и большинства [Simon 1967: 90]. Тем самым Гаман определяет «влияние» как взаимное воздействие знака и значения, чувственного слова и смысла, а не взаимовлияние языка как чего-то внешнего и мысли.

Язык, с точки зрения Гамана, является выражением духовного состояния народа и его истории. Основные черты языка конкретного этноса корреспондируют с направлением его образа мышления (*Denkungsart*), проявляющегося в природе, форме, законах и обычаях его речи. Особенности конкретного языка он суммирует термином «гений конкретного языка» (*Genius einer Sprache*). О гении немецкого языка он рассуждает в целом ряде работ, среди которых – «Пестрые замечания о сочетании слов во французском языке, смешанные с патриотической свободой, писанные высокоученейшим немецким французом» (1761), «Новая апология буквы *h*, или чрезвычайные наблюдения об орфографии немецкого языка Х.Г. Учителя» (1773), «Сомнения и озарения касательно одного сообщения “Всеобщей немецкой библиотеки” кузену Набалу» (1776), «Две лепты к новейшей немецкой литературе» (1780).

«Пестрые замечания» открываются ставшей уже классической аналогией: Гаман сравнивает язык с деньгами, ибо «деньги и язык суть два предмета, исследование коих столь глубоко и абстрактно, сколь применение их всеобщее. Оба находятся в более близком сродстве, чем можно было бы предположить. Теория одного объясняет теорию другого; они кажутся поэтому проистекающими из общественных причин. Богатство всякого человеческого познания основано на обмене словами» [Simon 1967: 97]. Аналогия эта подкрепляется историческими примерами: в древности красноречие имело, по мнению Гамана, столь же большое значение для государственных дел, сколько финансовое дело – для ума и счастья во времена самого Гамана. Поэтому даже Юлий Цезарь счел бы необходимым стать искусным монетчиком, будь он жив поныне, что соответствовало бы его стремлению быть искусным грамматиком в свое время.

Приводя этот пример, Гаман добавляет, правда, иронический комментарий касательно качества грамматических трудов Цезаря, явно уступающего качеству его походных записок, что позволяет перекинуть «методический мостик» и к современности, в которой «невежество ученых касательно глубин языка открывает двери бесконечному количеству злоупотреблений» [Там же: 98]. Примером подобных злоупотреблений он считает неверное преподавание латыни в школах, при котором намеренно игнорируется богатство инверсионных латинских конструкций, а школьникам прививается только прямой порядок слов.

Сопоставляя французский и немецкий языки, Гаман, конечно же, отдает пальму первенства своему родному, поскольку «немецкий язык по своей природе способен к таковым инверсиям более иных языков, и их смелость способствует росту репутации нашего поэтического слога» [Там же: 98]. Разбирая вариации одной и той же фразы *Он дал мне книгу*, Гаман совершенно точно описывает то, что лишь в двадцатом веке назовут тема-рематическим членением предложения, и отмечает, что инверсия «подчинена суждению разума и слуха». Большая гибкость немецкого синтаксиса объясняется Гаманом «свойствами грамматической этимологии», морфологической подвижностью частей речи (прежде всего, имен существительных и глаголов), между тем как французский язык обладает гораздо более скромной «этимологией языкового искусства» [Там же: 99]. Под последней он, очевидно, понимает морфологическое богатство языков, многообразие флексий и категорий; французскому языку, к примеру, не свойственны многообразные падежные окончания (в конце девятнадцатого века сказали бы: французский язык более аналитичен).

То, что Гаман имеет в виду именно аналитизм (тему, исключительно актуальную ныне в грамматической теории), подчеркивает сравнение французских предлогов с идентичными по семантике английскими. И это сравнение служит основанием для желания Гамана подчеркнуть предпочтительность синтетизма, его большую пространственно-структурную гибкость и подвижность и, тем самым, большую пригодность для выражения самых разнообразных логических и эмоциональных нюансов. В то же время он полагает, что латинское склонение отразилось на французской грамматической системе «посредством неверного применения», а рассмотрение категории артикля французскими грамматистами он считает «поверхностным» [Simon 1967: 100]. Любопытно, что и аналитические конструкции (на примере артикля) он подвергает внимательному анализу, полагая, что «истинное использование артикля преимущественно логическое и служит для того, чтобы придать значению слова свое ограничение или особенное направление» [Там же: 101]. Французские же философы и грамматисты (Гаман приводит здесь П.Л. де Мопертюи (1698–1759) в качестве яркого примера) не сумели вникнуть в особую природу разделения имен на назывные и определительные (т.е. имена существительные и имена прилагательные и прочие определения), объясняющую причины того, что при определительных словах (*Beiwörter*) не может быть артикля. Учение о границе между этими двумя классами слов «заслуживало бы верхней строчки среди онтологических задач» [Там же: 101]. Проекция этих размышлений видятся в учении А. Марти (1847–1914) об аутосемантиках и синсемантиках, хотя Гаман здесь более точен.

Однако сравнения между языками, устанавливаемые Гаманом, не приводят его к более далеко идущим выводам о качествах этих языков и, тем более, к какой-либо пирамиде языков мира (как это будет довольно неудачно представлено гораздо позднее у В. фон Гумбольдта). Мысль о том, что всяческие «недостатки» языков следует объяснять состоянием науки о них, качеством научных исследований и рассуждений ученых мужей, еще раз появляется в конце работы. Здесь Гаман вновь прибегает к аналогии: Руссо, говоря о французской музыке, пытался в своем послании обосновать тезис о том, что фонетические свойства французского языка не позволили французскому народу внести какой-либо вклад в музыкальное искусство [Simon 1967: 103]. Мнение Гамана: «Недостатки, кои навешивают на языки, проистекают всегда из неумения конкретного автора или композитора выбирать свою материю и способ обращения с нею»

[Там же]. Нельзя судить о способности немецкого народа к музицированию, привлекая в качестве матери сравнения «церковную музыку наших колонистов». Нельзя судить о способности французского народа к созданию эпических произведений, опираясь на «песни из подворотни» [Там же].

Основное противоречие, устанавливаемое Гаманом, состоит между «чистотой языка» (*Reinigkeit*) и его богатством; стремление к «связанной правильности» приводит к потере языком своей силы и «мужественности» (*Mannheit*). Корень же этого противоречия видится в отсутствии должного количества ученых мужей, кои «безошибочно понимали бы, что в их родном языке чисто и благооформленно» [Simon 1967: 104]. И Гаману остается только изумляться тому обстоятельству, что в огромном Париже, где ежегодно должно было бы появляться сорок подобных ученых мужей, такой ученый является раз в столетия.

Исследование сущности родного языка Гаман раскрывает на конкретном примере. В своей работе «Новая апология буквы *h*» (1773 г.) он обращает свой критический взгляд на труды философа и теолога Кристана Тобиаса Дамма (1699–1778). Одной из идей Дамма была реформа немецкой орфографии во избавление от ненужных графем, в частности, от непроизносимой в середине и в конце слов буквы *h*, использование которой «следует отменить как бесполезную, необоснованную, представляющуюся в глазах всех иностранцев варварскую и оскорбляющую нашу нацию привычку» [Mann 1937: 337]. Дамм делает, правда, еще более далеко идущие выводы относительно тех, кто, невзирая ни на что, продолжает «рабски» использовать эту букву: означенные лица «охотно изменяют и несправедливы также и к великим откровениям и тайнам всеобщей, здоровой и практической человеческой религии» [Там же].

Критикуя Дамма, Гаман демонстрирует причину подобного стремления: Дамм исходит из идеала «упорядоченного» разума, свободного от предрассудков. Гаман же рассматривает язык как живой организм, сочетающий в себе логичное и алогичное, чувственное и рациональное. Он отстаивает этот статус языка, не подлежащий диктату рационалистов от философии, полагая, что проект Дамма и сходные с ним идеи Просвещения вполне соответствуют «духу своего просвещенного столетия» [Mann 1937: 349].

Рассматривая аргументы Дамма, Гаман вначале касается непроизносимости согласного *h* в середине и конце слова. Следуя логике «здравого смысла», Гаман признает правоту автора лишь в том, что исключение непроизносимых букв облегчило бы детям освоение орфографии, но предлагает автору в таком случае провести еще несколько реформ: 1) упразднить удвоение согласных в конце слов (*ll, tt, ss, mm, nn*), произнести которые в обычной речи нет никакой возможности, заменив второй согласный в случае необходимости на *h* как знак аспирации [Mann 1937: 341]; 2) убрать и в работе самого автора все *h* в таких словах, как *ihr, ihn, thun, führ*, при этом Гаман выбирает такие случаи, которые в результате подобной реформы приведут к омографии личных местоимений, глаголов и предлогов; однако в результате подобной операции «судьбу нашего родного языка легко предугадать»: «Какие расколы! Какое вавилонское смешение языков! Какое смешение букв! Все многообразие диалектов и говоров и их шиболетов (типичных особенностей) пролилось бы на книги каждой провинции, и какая дамба (Damm – игра слов, где Гаман намекает на фамилию своего оппонента) смогла бы устоять против этого орфографического всемирного потопа?» [Mann 1937: 342]. Главным итогом такой реформы для самих сторонников Просвещения стало бы, как иронизирует Гаман, то обстоятельство, что «всякие общественные узы литературы, связующие народы Германии, через несколько лет прервались бы к огромному ущербу для истинной, всеобщей практической религии, ее распространения и обещанного ею мира» [Там же].

Относительно второго, более серьезного выпада в сторону пишущих все непроизносимые буквы, Гаман замечает противоречие в принципиальной позиции Дамма: если язык и орфография «основаны на использовании их разумными лицами всей нации», то непонятно, как могла сложиться подобная орфография до выхода работы Дамма?

Что же до иностранцев, которым немецкая орфография кажется «варварской», то Дамм имеет в виду, как подозревает Гаман, французов и англичан, у которых с орфографической простотой и логикой далеко не все в порядке [Mann 1937: 347].

Историю с этим орфографическим проектом Гаман вновь использует как трибуну для обличения «просвещенного столетия»: сторонники Просвещения поклоняются идолу разума, да так, что с ними ни в какое сравнение не идут «грубейшее язычество» и «самый оголтелый папизм». Для Гамана же «именно дух – это то, что наполняет жизнью; буква – это плоть, а ваши словари – сено» [Там же: 353].

Тема реформирования немецкой орфографии определяет и один из поздних трудов Гамана – «Две лепты к новейшей немецкой литературе» (1780). В первой лепте Гаман констатирует, что «любовь к отечеству естественным образом основана на его *parties honteuses* (забытых, заброшенных частях), я имею в виду родной язык (*Muttersprache*) и мать-церковь» [Roth 1824, VI: 25]. Эта взаимосвязь прослеживается им как невозможность разума без языка, религии без разума, а без всех них стали бы невыносимыми дух и узы общества. Поэтому Гаман призывает не слишком торопиться с «устранением явных ошибок» в языке. Свобода, стремящаяся всему неопределенному непременно придать некую определенность, а все ненужное и излишнее – отсечь, вырождается в механизм.

Гаман проводит параллели между «душевым настроением, который, согласно мнению многих, определяется положением тела», и «отличительными чертами языка», которые корреспондируют с направлением образа мыслей конкретного народа, так что «всякий народ проявляет оное посредством природы, формы, законов и обычаев своей речи в той же степени, в какой посредством внешнего образования и театральным действием общественных поступков» [Simon 1967: 90]. Правда, эту мысль не стоит воспринимать как немедленное признание идиотичности языков, поскольку Гаман сразу же поясняет, что он имеет в виду: «Ионический диалект сравнивали с манерой ионийцев одеваться, а строгость в соблюдении законов, которая так ослепляла иудеев в пору божественного искушения, бросается в глаза и в их языке» [Там же]. Гаман устанавливает тем самым излишне прямолинейную взаимосвязь между языком и этническим характером, полагая, что у любого проявления этноса есть некий общий источник. Этот источник – направление образа мышления (*Richtung der Denkungsart*) – объясняет, по мнению Гамана, причину богатства языковых средств в одной сфере и бедности в другой в рамках одного и того же языка, «всех проистекающих из такого неравного соотношения явлений, которые причисляются то к достоинствам, то к недостаткам» [Там же]. Ту же прямолинейность обнаруживали многие последователи В. фон Гумбольдта во второй половине девятнадцатого и первой половине двадцатого столетий (к примеру, М. Дойчбайн в оценке этнических особенностей англичан, выводимых из богатства лексикона в области обозначения денежных операций).

Описанные особенности конкретного языка он и обозначает термином «гений конкретного языка» (*Genius einer Sprache*), выступающим как его «натура» (*Naturell*). Существенно, что Гаман не причисляет к этой натуре грамматику и красноречие. Правда, объясняет он это обстоятельство весьма необычно: ссылаясь на неудачу «двух ученых» авторов грамматик (по-видимому, Готтшеда и Михаэлиса), которые оказались неспособны выявить «гений языка» из-за своих философских догм («философической миопии и филологического рыночного ора») [Simon 1967: 91]. Несколько ниже он, впрочем, отмечает еще одну особенность грамматики: ее искусственный характер и зависимость от конкретного автора, который «знает, как внушить своим слушателям правдоподобие тех или иных модных истин» [Там же: 93]. Это еще один пример влияния, которое может оказать «мнение» на язык.

Между тем Гамана занимает вопрос о том, чем объясняется особое «направление образа мышления» у различных народов, и он усматривает первую его причину в «чувственных впечатлениях и связанных с ними ощущениях» (как здесь не вспомнить «психологию народов», сложившуюся через сто лет после Гамана!). «Гармония чувственных инструментов» видится ему как «пружина человеческой речи», выступающей

здесь в образе особого часового механизма. Природа награждает языки и уста людей «незаметными для нас модификациями», подобно тому, как она одаряет их определенным цветом или разрезом глаз. Исключительно интересно то обстоятельство, что Гаман, как и гораздо позднее Штейнталь, прибегает в своих аргументах к языку глухонемых. Правда, этот пример помогает ему «пролить свет на природу древнейших языков». Значение языка здесь весьма велико, ибо «даже намек на звук достаточен для того, чтобы устанавливать самые искусные различия» [Simon 1967: 91]. Любопытно брошенное здесь же вскользь замечание Гамана о том, что животным язык не так был нужен потому, что их органы чувств были гораздо более развиты, чем у человека. Разнообразие в формировании языков могли внести более или менее сильная потребность в новых языковых средствах, различия в ритме и ударении.

Вторым фактором, формирующим своеобразие языка, Гаман считает «модные истины, предрассудки относительно внешней важности и репутации, циркулирующие в данном народе»; эти предрассудки составляют «искусственный и случайный образ мыслей одного и одновременно оказывают особое влияние на его язык» [Там же: 92]. Примерами таких предрассудков Гаман считает внешнюю важность математической учености и репутацию французских и английских писателей в Германии. Это позволяет Гаману фиксировать различия между двумя образами мышления, присущими народам: «неподвижным», «древнейшим», когда некий народ мыслит исключительно формально-логически, «математическим ученым образом», и «подвижным», «новейшим», когда некий народ порождает неологизмы и новые языковые фигуры или заимствует их. Счастьем для немецкого языка (и народа) полагает Гаман то, что обе эти «мании» находились в равновесии.

Третьим влияющим на язык фактором является для Гамана многоликость языка, охватывающего самые разные сферы от правописания до «шедевров поэтического искусства и тончайшей философии, вкуса и критики»; характер языка сказывается здесь на самых разных обстоятельствах – выборе слов, формировании речевых оборотов. Язык выступает в концепции Гамана не только как средство «сообщать наши мысли», но и как средство «понимать мысли других» [Там же: 93]. Этот последний момент имеет для него, очевидно, не менее важное значение, чем первый, поскольку он фиксирует важность и сложность интерпретации мыслей другого человека, которая, в силу критического характера всей философии Гамана, не может не быть фрагментарной. Однако главное заключается в том, что лишь из изучения обеих указанных проблем возможно, по его мысли, извлечь учение, способное объяснить явления взаимозависимости языка от его «меняющегося» использования.

Здесь Гаман придает своим рассуждениям политическое измерение, поскольку знание этого взаимоотношения он считает основой для законности и государственного управления. Язык в этом смысле воспринимается Гаманом и как откровение, чувственное выражение внутреннего устройства общества, и как явление, определяющее черты народа.

Проблема происхождения языка относится к третьей, весьма важной сфере интересов Гамана. Эту проблему поначалу косвенно затрагивают его литературоведческие труды: «Краткий очерк эстетики. Рапсодия в каббалистической прозе» (1762), «Писатель и художественный критик» (1762), «Малый опыт регистра о единственной букве Р» (1762), «Читатель и художественный критик по диспропорции в перспективе» (1762).

Гаман находит, что именно поэзия является праязыком рода человеческого подобно тому, как садоводство предшествовало земледелию, живопись – письму, пение – декламации, притчи – логическим заключениям, обмен – торговле. Важность и приоритет поэзии обоснованы приоритетом образности в мышлении древнего человека, так что «чувства и страсти говорят только образами (Bildern) и понимают только их» и «в образах заключено все богатство человеческого познания и довольства жизнью» [Simon 1967: 107]. Самый акт сотворения мира рисуется Гаману как акт не только порождения природы, но и «наслаждения природой», соединившихся в словах «Да будет

свет!». Господь, этот «историограф сотворения мира», был и первым субъектом образного мышления, так что Гаман даже говорит о «чувственном явлении его величия», увенчанном сотворением человека. Господь предстает тем самым не только как историк, но и как изысканный, талантливейший литератор, если только к нему приложимы эти описания.

Древняя поэзия наделяется Гаманом всеми атрибутами природы по аналогии с первым питанием (растительным), первым напитком (вином) и первой одеждой человека («рапсодией из фиговых листков»). Но она стала и реализацией желания Господа («Говори, дабы я узрел тебя»); сам акт творения стал «речью к творению посредством самого творения» [Simon 1967: 108]. В результате же человечеству достались «рассеянные члены творца», которые ученому следует собирать, философу – комментировать, а скромный удел поэта – «подражать им» [Там же].

Все описанные атрибуты речи, ее взаимосвязь с Промыслом творца объясняют, почему «говорить есть переводить с языка ангельского на язык человеческий», где язык ангельский, вышний – мыслительный, а язык человеческий – словесный. Говорить – значит переводить вещи в имена, образы в знаки, а знаки эти могут уже, в свою очередь, быть поэтическими или кириологическими, историческими либо символическими, иероглифическими; филологическими или характерными. То, что экстериоризованную речь Гаман считает лишь бледным подобием мыслительных процессов, становится понятным из его сравнения речевого процесса с «изнанкой обоев» или рассматриванием солнечного затмения через сосуд с водой [Simon 1967: 109].

На фоне этих рассуждений становится понятной реакция Гамана на выход в свет «Сочинения о происхождении языка» Й.Г. Гердера, которое являлось ответом на конкурсное задание Прусской академии наук и получило первую премию. Гаман отвечает на работу Гердера целой серией статей: «Две рецензии... касательно "Происхождения языка"» (1772), «Последнее волеизъявление рыцаря Розенкрейцера о божественном и человеческом происхождении языка. Переведено спешно с первоисточника с карикатурами приспешником иерофанта» (1772), «Филологические озарения и сомнения касательно конкурсного академического сочинения» (1772). В обсуждении этой проблемы наиболее отчетливо проявились контуры философии языка Й.Г. Гамана, повлиявшей в результате этой полемики на формирование взглядов В. фон Гумбольдта (как исторически первая версия идиоэтизма) и – позднее – немецких романтиков.

По мнению Гамана, Гердер отнесся к своему заданию с «неповиновением», поскольку не выдвинул новой гипотезы в ответ на вопрос Академии: «Предположим, что люди полагались бы только на свои естественные способности, смогли бы они изобрести язык? И какими средствами они сами достигли бы такого изобретения?». Гаману, как и всем его современникам, был ясен контекст этого задания: Академия являлась основным «гнездом» Просвещения в Германии, ее деятельность контролировал сам король Фридрих Второй. По этой причине за невинной формулировкой частного случая в жизни человека на самом деле скрывалась гораздо более фундаментальная задача – доказать изобретение языка человеком в пику логосической теории.

В интерпретации Гердера и Гамана эта проблема звучит так: «Был ли первый, древнейший, исконный язык сообщен людям тем же способом, каким до сих пор происходит размножение языков» [Simon 1967: 132]. В этой связи Гердер лишь попытался устранить божественную гипотезу происхождения языка, которая, как он считал, «будучи рассмотренной со всех сторон, лишь затуманивала и позорила ум человеческий, и при этом давно» [Там же].

Гаман отвергает отправную точку Гердера – неспособность предыдущей традиции объяснить происхождение языка, исходя из возможностей человеческого разума, приведшую к появлению божественной гипотезы. Гердер же полагает, что он способен дать именно это объяснение. Он объясняет происхождение и развитие языка в тесной связи с человеческой душой, самим развитием человека, так что без развития языка род человеческий не способен был бы оставаться «природным родом» [Simon 1967: 130]. Более того, даже в Святом Писании (истории сотворения природы) Гердер усматривает

доказательство человеческого разума как источника языка (по крайней мере, названий животных). Гердер полагает также, что божественная гипотеза унижает Создателя, поскольку в языке слишком много «низменнейших, самых несовершенных антропоморфизмов»; напротив, человеческая гипотеза восхваляет мудрость Творца, сотворившего столь совершенную душу человека, что она оказалась способной создать язык. В этом смысле происхождение языка «становится достойным образом божественным, будучи человеческим» [Simon 1967: 130].

Но Гердер идет дальше простой констатации преимущества человеческого объяснения перед божественным: он указывает на то, что божественная гипотеза «ни на что не годна и крайне вредна», «разрушает человеческую душу, ничего не объясняет и делает все, психологию и науки, необъяснимым» [Там же]. Ведь если знания люди получили из рук Господа вместе с языком, то человеку не дано никогда эти знания постигнуть. Гердер отстаивает в этой связи человеческую гипотезу, приводя данные из области психологии, сведения о различных языках и социальной жизни. Гаману все эти доказательства кажутся фикцией, в которую ее создатель (Гердер), естественно, верит.

Задача Гамана же заключается в защите именно «высшей гипотезы», ее «индивидуальности, величия, мудрости, красоты, плодотворности и великолепия», и эта задача – отомстить за нападки на нее – кажется ему «самой желанной Дульсинеей» [Simon 1967: 131]. Отвечая Гердеру, Гаман полагает, что при ответе на вопрос конкурса следует ориентироваться на аналогию с существующими природными процессами, а не изобретать нечто небывалое. Значит, первый, самый древний и исконный язык не мог быть передан людям иначе, чем способом, существующим поныне. Ныне же, резюмирует Гаман, существуют лишь три способа: при помощи инстинкта, путем изобретения и посредством обучения. Опираясь на примеры детей с врожденной глухотой, детей, выросших в отдалении от общества, Гаман отвергает возможность создания языка на основе человеческого инстинкта или изобретения, ибо «изобретение и разум предполагают уже наличие языка и немыслимы без него, как искусство счета без цифр» [Там же: 133]. Остается лишь путь передачи языка путем обучения! Но со стороны кого? Гаман, конечно же, рассуждает об этом: «Человеческое обучение отпадает само собой; мистическое – двусмысленно, нефилозофское – не эстетично и обладает 97 недостатками... Остается, таким образом, по необходимости и на доброе счастье не что иное, как обучение со стороны животных» [Там же: 134]. Принимая для видимости сторону этого объяснения происхождения языка, Гаман иронизирует над таким вариантом «обучения», вопрошая: «Не стоит ли нам разве возблагодарить скептицизм хитрого животного за ростки всякого познания добра и зла, даже за само философское древо энциклопедии?» [Там же]. Оставляя «ключ от загадки пока при себе», Гаман не видит смысла в том, чтобы «сравнивать физиогномии человеческих языков с голосами животных для определения происхождения живых языков». Окончательный вывод Гамана, совершенно развенчивающего в рецензии своего «земляка печального образа»: «Вышний мир превосходит всякий разум» [Simon 1967: 136].

В работе «Последнее волеизъявление рыцаря Розенкрейцера о божественном и человеческом происхождении языка. Переведено спешно с первоисточника с карикатурами приспешником иерофанта» (1772) Гаман продолжает свои размышления о проблеме происхождения языка логическими рассуждениями, отталкиваясь от своего основного тезиса: «Если предпосылкой является то, что Бог есть источник всех воздействий в большом и малом, как на небе, так и на земле, то каждый сочтенный волосок на нашей голове ... божественен... Дух моисеевых законов простирается поэтому далеко за пределы отвратительнейших выделений человеческого трупа. Следовательно, все божественно» [Simon 1967: 139]. Однако же, «все божественное в то же время и человеческо», так что человек «не способен ни творить, ни страдать иначе, как по аналогии своей природы»; эту тесную взаимосвязь Бога и человека Гаман называет «communicatio божественного и человеческого *idiomatum*». Эта взаимосвязь рассматривается Гаманом как «основной закон и главный ключ ко всякому нашему познанию» [Там же]; тем самым Гаман подхватывает брошенную в рецензии на труд Гердера фразу об «оставленном

пока при себе ключе» и поясняет свою принципиальную позицию по вопросу о происхождении языка.

Эту позицию он разъясняет еще более конкретно во втором абзаце своего «Волеизъявления»: «Поскольку языковые инструменты являются, по меньшей мере, подарком матери-природы... и поскольку в соответствии с высшей философской вероятностью Создатель этих искусных (künstlichen) механизмов желал и должен был желать также их использования, то и происхождение языка является божественным» [Там же]. Однако любое влияние высшего существа посредством нашего языка не может не осуществляться по аналогии с человеческой природой, что означает, что «происхождение языка и в еще меньшей степени его развитие не могут быть какими-то иными, кроме человеческих» [Там же]. В этой теснейшей связи заключается отличие точки зрения Гамана от мнения сторонников Просвещения, желавших исключить один из компонентов познания (божественный) и придать другому (человеческому) исключительный характер. Одновременно в этом же отличие и точки зрения Гамана от сходной, на первый взгляд, с его мнением позиции Гердера, стремившегося «возвысить» божественное начало, ограничив его вклад в человеческую жизнь актом творения тела и души, а развитие собственно духовного в человеке отнести к сфере действия одного только разума. Гаман усматривает в Создателе не «гончара пластических форм», а «отца огненных умов и дышащих сил» [Simon 1967: 140].

Гаман подхватывает также мысль одного итальянского естествоиспытателя о том, что прямохождение на двух ногах не есть результат инстинкта человека, а унаследовано и носит искусственный характер. Такую же характеристику Гаман дает и процессу принятия пищи и питью, ибо дети, независимо от их происхождения и достатка их семей, не научились бы есть ложкой самостоятельно, если бы «их няньки и матери не мазали бы им кашей вокруг ртов и не ожидали бы действия известного всем секрета пищеварения» [Simon 1967: 141]. Гаман обращает и в целом внимание философов на то, что не существует никакой физической связи между причиной и следствием, средством и намерением; эта связь «духовная и театральная». Так, человек не способен научиться рисовать кистью, не пройдя какого-либо обучения.

Перечисленные Гаманом примеры призваны убедить читателя в том, нельзя «рассматривать язык, это искусство проворное, непостоянное, демоническое (как писал Монтень вслед за Платоном), как самостоятельное изобретение человеческого искусства и мудрости» [Там же: 143]. Однако он не желает далее «пускаться в рукопашную с выдумками» рационалистов, поскольку они являются результатом «затмения в зрачке *sensus communis*». Он обращается к ситуации, в которой оказались первые люди. Господь создавал и этих людей, и все вокруг них своим словом, поэтому «каждое явление природы было словом – знаком, образом и залогом нового, тайного, невысказываемого, но тем более тесного объединения, сообщения и сообщества (*Gemeinschaft*) божественной энергии и идей. Все, что слышал человек в самом начале, видел своими глазами, ощупывал своими руками, было живым словом; ибо Бог был этим словом» [Там же: 144]. Такая предпосылка превращала источник языка в легкое, простое и естественное явление.

Проблема взаимосвязи и отличия человека и животного потребовала, очевидно, своего более детального рассмотрения, поэтому в том же году Гаман создает «Филологические озарения и сомнения касательно конкурсного академического сочинения» (1772). Здесь Гаман определяет отличия человека от животного, полагая, что механизмы человеческой жизни суть иная степень общего с животными механизма, а стиль жизни – и есть основной отличительный признак человека. Со ссылкой на Аристотеля Гаман заключает, что «истинный характер нашей натуры заключается в судебном и властительном достоинстве политического зверя» [Там же: 149]. Это достоинство не является, однако, каким-то преимуществом или заслугой человека, поскольку дано ему Господом. Данность всего свыше объясняет, почему Гаман неоднократно подчеркивает тот факт, что не инстинкт и не разум (*sensus communis*) являются определяющими началами человека.

Тем не менее, Гаман подчеркивает существенную важность свободы – свободы быть злым или добрым, определяющей в конечном итоге самое познание добра и зла. Без свободы невозможно подражание, на котором основаны обучение и изобретение, его сознание, внимание, способность к абстракции, поскольку «человек есть от природы величайший пантомим среди всех животных» [Simon 1967: 150]. Свобода отличается в результате человека, охватывающего всеобщее и бесконечное в своем кругозоре, от животного, все силы и порывы которого определяются инстинктом и носят поэтому индивидуальный и ограниченный характер. Процесс познания рисуется Гаману как взаимодействие чувств и разума: «Предположительно, чувства относятся к разуму как желудок к сосудам, кои выделяют из крови тонкие и высокие соки, без круговорота и влияния которых сам желудок не смог бы управлять своим ведомством. Таким образом, нет ничего такого в нашем разуме, что до этого не побывало бы в наших чувствах... Stamina и menstrua нашего разума суть посему в собственном смысле откровения и передаваемые знания (Überlieferungen), которые мы перенимаем в наше владение, превращаем в наши соки и силы и тем самым становимся достойными нашего предназначения – частью поведать миру, частью передать далее критическое и архонтское достоинство политического зверя» [Там же: 151]. Рождающийся на свет человек включается в процесс познания, будучи «пустым сосудом», но «именно этот недостаток делает его тем способнее к восприятию природы посредством опыта и к сообществу своего рода посредством передаваемых знаний» [Там же: 152]. Гаман настаивает на терминологической паре – откровение (Offenbarung), т. е. чувственное восприятие окружающего мира, и передача знания (Überlieferung), которую он еще описывает и как «человеческие свидетельства». Отношения между этими двумя началами, «внутренним» и «внешним» человеком, телом и душой, отличает «таинство брака», единение. Человек учится использовать эти свои стороны потому, что он «может, вынужден и так любит учиться» [Там же: 153].

Гаман экстраполирует это объяснение и на проблему происхождения языка: «Источники языка столь же естественны и человечески, сколь и источники всех наших действий, навыков и искусств. Но, несмотря на тот факт, что каждый ученик участвует в процессе своего обучения по мере своих склонностей, способностей и возможностей, учение в собственном смысле столь же мало представляет собой изобретение, сколь и простое возвращение в память» [Simon 1967: 153]. Тем самым Гаман пытается вновь «воскурить критические смолы против модного духа» своего столетия.

Он вновь анализирует доводы и мотивы Й.Г. Гердера, «платонического апологета человеческого происхождения языка», находя их «на деле более сверхъестественными, священными и поэтичными», чем история Сотворения мира. Против «платонического доказательства человеческих истоков языка» Гаман выдвигает, однако, определенные сомнения.

Так, Гердер полагает, что недостаток силы и животных инстинктов компенсируется у человека именно языком, точнее, способностью к специфической для рода человеческого направленности сил и их «умеренного использования» исключительно для достижения основной цели – «осмысленностью» (Besonnenheit). Она, по мнению Гердера, способна обеспечить человеку большее пространство для его позитивной силы, более тонкую организацию и большую свободу. Гаман усматривает противоречие между тем, что осмысленность, которая по определению присуща человеческой натуре, позволила ему изобрести язык в тот момент, когда впервые в нем свободно проявилась. Значит, человек проходит своего рода стадии в своем развитии – до первого проявления «осмысленности» и после него. Гаман полагает, что тем самым Гердер пытается доказать сразу две противоположные идеи: то, что человек не есть животное, и то, что он все же животное. Такой «неоплатонический» человек «может и должен» изобрести язык, поскольку «животное не может» этого, а Бог «не имеет права» [Simon 1967: 155].

«Позитивная часть» платонического доказательства (человек – есть все же животное) означает, что человек думает и говорит под действием инстинкта, что «поло-

жительная способность думать, говорить врождена ему и является непосредственно природной», что стоит поместить человека, «протопласта языка», в присущее ему и так состояние «осмысленности», чтобы изобрести то, что ему и так присуще [Там же: 157].

Об особой роли языка в познании Гаман рассуждает в своей «отложенной» полемике с И. Кантом – его «Метакритика о пуризме разума» (1784) увидела свет лишь в 1800 г.

«Очищение философии» Кантом, которое представляется Гаману весьма неудачным, было предпринято для того, чтобы сделать разум независимым от всякой традиции и веры в него, и далее – от опыта и его «ежедневной индукции». В результате такого очищения от языка остается лишь «неопределенное нечто», «талисман и четки трансцендентального суеверия в *entia rationis*, их пустые мехи» [Roth 1825, VII: 8]. Между тем ответ на вопрос о том, как вообще возможно мышление, «способность мысленно выходить за пределы опыта, мыслить справа и слева от него, до него и без него, с ним и о нем», возможен лишь в одной версии: благодаря «генеалогическому приоритету» языка. Гаман дает превосходное обоснование этой мысли, указывая: «Не только вся способность мыслить основана на языке, ...но язык есть и средоточие непонимания разумом себя самого, отчасти из-за постоянного совпадения величайших и мельчайших понятий, их полноты и пустоты в идеальных предложениях, отчасти же – из-за бесконечности речи» [Там же: 9]. Отсюда проистекает двойственный характер букв и звуков, которые, с одной стороны, как «чистые априорные формы» не имеют ничего общего с сущностью обозначаемых ими понятий, а с другой – «истинно эстетические элементы всякого познания и разума», поскольку древнейший язык был, с точки зрения Гамана, «музыкой», а древнейший шрифт – «живописью и рисунком» [Roth 1825, VII: 10]. В этом смысле древнейший язык отражал категории времени (ритм устной речи) и пространства (экономия места), и эти категории не могли не отразиться на мышлении, став, если не «врожденными идеями» (*ideae innatae*), то, по крайней мере, – «матрицами всякого созерцательного познания» [Там же]. Гаман настаивает именно на слиянии категорий чувственного восприятия и рационального познания, полагая, что посредством первого предметы нам «даны», а посредством второго они «мыслятся»; тем самым он определяет чувственное (*Sinnlichkeit*) и рациональное (*Verstand*) как «два ствола человеческого познания» [Там же]. Разделение этих двух стволов одного корня он воспринимает как «насильственное, неоправданное, своевольное». Гаман предлагает поэтому другую картину – познание как единый ствол с двумя корнями – в воздухе (чувственное восприятие) и в земле (разум).

По аналогии с этим и слова он рассматривает как феномены, имеющие две способности – выступать как элементы чувственного восприятия и созерцания (благодаря своей форме), и как элементы разума и понятийной сферы (благодаря «духу их использования» и значению) [Roth 1825, VII: 13]. Здесь Гаман анализирует два софизма «критического идеализма»: 1) возможно ли из созерцания буквенного состава слова выделить его понятийное содержание? 2) возможно ли извлечь из понятия разума «материю его имени»? Касательно первого вопроса он отмечает различия между языковыми формами, способными в одном случае выступать элементами шарады, ребуса и тем самым открыть путь к интерпретации их смысла, но в другом – никак не быть связанными с понятийным содержанием. Что же касается второго вопроса, то он отвечает на него отрицательно, хотя любой «Гомер чистого разума» оставляет возможность такой «априорно-апостериорной» связи, некоего философского языка. Именно эту возможность «вывести форму эмпирического созерцания без предмета или знака из чистого и пустого качества нашего внешнего и внутреннего устроения» Гаман считает краеугольным камнем критического идеализма, который он не приемлет.

Для Гамана Кант («прусский Юм») – автор системы заблуждений, его трансцендентальный идеализм – чистейшей воды формализм, не имеющий будущего. Тем не менее, он не публикует свою метакритику, чтобы, очевидно, не обидеть старого друга. Для такой работы у Гамана была уже подготовлена почва, поскольку Кант отдавал ему

все присланные в его адрес труды по его философии, и сама судьба критической философии оказалась для Гамана более интересной, чем для Канта.

Свою критику Гаман обращает, прежде всего, против игнорирования Кантом языка и зависимости от него нашего мышления. Вся наша способность мыслить основана не на категориях мышления, формах созерцания и спонтанности понятий, а на традиции, сохраняемой и передаваемой из поколения в поколение языком. Вопрошая о том, на что способны рассудок и разум априори (т. е. вне всякой зависимости от опыта), Кант ставит перед собой бессмысленную, с точки зрения Гамана, задачу.

В целом лингвистические и философские работы Гамана представляют собой во многом описание собственных сложных отношений Гамана и современного ему читателя-просвещенца. Фигура мыслителя – не только интеллектуальный, жаждущий своего декодирования автор, это и герой, противостоящий заблуждениям своей эпохи. Гаман призывает искать истоки силы мыслителя в его предназначении, биографии, личности и его повседневных привычках. Этому призыву пытается соответствовать и нарративная лингвоисториография.

Нарративное исследование творчества Гамана предстает перед нами как снятие бесчисленных покровов с портретной галереи лингвистов и лингвофилософов прошлого, открывающее перспективу более «персонального» взгляда на научные события и в то же время подкрепляющее фундамент нового объективизма в теории языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аликаева 2009 – Л.С. Аликаева. Немецкий лингвофилософский дискурс XVIII столетия (Й.Г. Гаман): Дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2009.
- Алпатов 2004 – В.М. Алпатов. История одного мифа: Марр и марризм. М., 2004.
- Гильманов 1996 – В.Х. Гильманов. Герменевтические принципы в творчестве И.Г. Гамана // XXVII научная конф. профессорско-преподавательского состава: Тезисы докл. Калининград, 1996.
- Кожевников 1897 – В.А. Кожевников. Философия чувства и веры в ее отношении к литературе и рационализму XVIII века и к критической философии. Ч. 1. М., 1897.
- Макаров 2004 – А.Н. Макаров. Гаман и чувство во второй половине XVIII в. // В.Н. Оношко (отв. ред.). Вопросы романо-германской филологии: Сб. науч. трудов. Вып. 3. Киров, 2004.
- Радченко 1997 – О.А. Радченко. Язык как мирозидание. Лингвофилософские основы неогумбольдтианства. Т. 1–2. М., 1997.
- Радченко 2000 – О.А. Радченко. Нарративная лингвоисториография: поиски нового объективизма // Язык: теория, история, типология. М., 2000.
- Соломеин 2003 – А.Ю. Соломеин. Французская национальная гуманитарная традиция: специфика и генезис // Теоретический журнал Credo New. 2003. № 3.
- Blanke, Schreiner 1956–1963 – F. Blanke, L. Schreiner (Hrsg.). Hamanns Hauptschriften erklärt. Bd. 1–7. Gütersloh, 1956–1963.
- Bryuschinkin 1996 – V. Bryuschinkin. Zur Logik der Kultur. Kant, Hamann und russische Slawophile über Aufklärung // G. Bernhard (Hrsg.) Johann Georg Hamann, Autor und Autorschaft // Acta des Sechsten Internationalen Hamann-Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1992. Frankfurt-am-Main, 1996.
- Dilthey 1936 – W. Dilthey. Johann Georg Hamann // W. Dilthey. Gesammelte Schriften. Bd. XI: Jugendaufsätze und Erinnerungen. Leipzig; Berlin, 1936.
- Gervinus 1835–1842 – G.G. Gervinus. Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen. Bd. 1–5. Leipzig, 1835–1842.
- Gildemeister 1853–1873 – C.H. Gildemeister. Johann Georg Hamanns, des Magus in Norden, Leben und Schriften. Bd. 1–6. Gotha, 1853–1873.
- Goethe 1948 – J.W. von Goethe. Dichtung und Wahrheit // Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 10. Hamburg, 1948 ff.
- Hegel 1956 – G.W.F. Hegel. Hamanns Schriften // G.W.F. Hegel. Sämtliche Werke. Bd. XI: Berliner Schriften. Hamburg, 1956.
- Kawanago 1993/1994 – Kawanago Yoshikatsu. Kritik und Bewahrung. «Metakritik» als philologisch-hermeneutische Haltung gegenüber der Tradition // Language / Information / Text, The University

of Tokyo, Graduate division of international and interdisciplinary studies, language and information sciences. V. 1. 1993/1994.

Mann 1937 – *O. Mann* (Hrsg.). *Hamann, Magus des Nordens' Hauptschriften*. Leipzig, 1937.

Michailov 1996 – *A. Michailov*. Vladimir Koževnikov und sein Hamann-Buch aus dem Jahre 1897. Eine Episode aus der russischen Hamann-Rezeption // G. Bernhard (Hrsg.) *Johann Georg Hamann, Autor und Autorschaft: Acta des Sechsten Internationalen Hamann-Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1992*. Frankfurt-am-Main, 1996.

Nadler 1949–1957 – *J. Nadler* (Hrsg.). *Johann Georg Hamann: Sämtliche Werke*. Bd. 1–6. Wien: 1949–1957.

Roth Fr. 1821–1843 – *Fr. Roth, G.A. Wiener* (Hrsg.). *Hamanns Schriften und Briefe*. Bd. 1–9. 1821–1843.

Schlegel 1813 – *F. Schlegel*. *Hamann als Philosoph* // *Deutsches Museum* III. Hf. 1. Wien, 1813.

Simon 1967 – *J. Simon* (Hrsg.). *Johann Georg Hamann. Schriften zur Sprache*. Frankfurt-am-Main Suhrkamp, 1967.